

*Светлой памяти Евгении М. Евсеевой и  
Анны М. Васильевой (урожденных сестер  
Кузнецовых) посвящается*

*О светлом-светлом хочется писать,  
Чтобы сквозь слезы утро улыбалось.*

Строки входят в меня, словно вливается мелодия Шуберта,  
и звучат они необычным образом: как-то грустно и радостно

одновременно. Таким же похожим нежным утешением музыка звучала во мне давно, и было это почти год назад или даже больше. Я смотрю в темноту, туда, где ожидается пред-рассветная бледность. Сейчас из окна моей кухни это даже не горизонт – всего лишь ломаная линия из крыш городских домов, которые в темноте едва просматриваются. Тогда, полтора года назад, я подобным образом смотрела на предполагаемую линию горизонта в почти такой же темноте из окна обычного десятиэтажного дома, стоящего на окраине города. Фасадом дом смотрел на реку, за которой на противоположном берегу тянулся холм, а у самого подножия этой невысокой гряды – железнодорожная линия, по которой в сторону действующего завода ходили электрички и грузовые составы. Солнце вставало с той стороны, из-за этого холма-гряды. В ту ночь я сидела в кухне, устремляя глаза в пространство предстоящего рассвета, и уже давно надо было спать, а я все смотрела туда, за окно, на тусклые огни железнодорожной остановки, на темную громаду автомобильного моста и на возвышающийся холм-гряду. Моя тетушка, за которой я ухаживала, заснула не так давно, но мои глаза не смыкались, хотя усталость меня одолевала, а остаток ночи до рассвета оставался совсем небольшой.

Прошедший накануне день проявился весьма неординарным образом, и во мне сохранялся его след. Глядя в темноту окна, я почти явно слышала звучание музыки. С вечера она звучала по радио, и я не слышала ее начала, но в самом конце музыкальной передачи ведущая повторила, что исполнялась мелодия Шуберта.

Именно необычный день, хотя он и был среди рядовых дней, каких много. Непохожесть его была в том, что нас посетил священник, вернее визит его был к ней, тете. Надо сказать, что происшедшее меня потрясло; не сам визит, ко-

нечно, но то, что услышала я в ходе посещения. Услышала от человека, которого знала всю жизнь, с самого детства. Но давайте по порядку, вот как это происходило.

Дожидаюсь с тетей Машей священнослужителя, мы разговаривали с ней о пустяках. Когда духовный сан прибыл, я спустилась с седьмого этажа вниз встретить его. Мы поднялись в квартиру. Он снял шубу, и я увидела совсем не старого мужчину в атласном черном одеянии, на груди великолепным шелком золотое с алым теснение, небольшой крест. Молодое лицо человека вероятно тридцати двух лет, не больше, в обрамлении небольшой бородки с очень добрыми и чуть строгими глазами. В руках он держал молитвенник, другие обрядовые предметы, некоторые из которых он чуть позже установил в углу комнаты возле окна. Служитель поздоровался с тетушкой, она ответила. Аккуратность и красота облика пришедшего наполнили нашу комнату радостным спокойствием. Старенькая старшая сестра моей мамы, лежа на диванчике, была молчаливо-тиха и спокойна перед предстоящей процедурой. Я тоже обрела спокойствие, и улетучилась куда-то моя внутренняя суета, настороженность. Как показалось мне, у тети Марии чувствовалось подобное состояние.

Священник начал читать, произносить молитвенную речь, ходить по комнате, покачивая кадилным устройством; слова молитвы как бы присутствовали вместе с нами и как бы растворялись в воздухе. Выполнив эту часть действий, он приступил к более нам понятному и главному для тети Маши: стал задавать вопросы, расспрашивая женщину по тем темам, которые, на мой взгляд, могли быть обозначены как греховные по церковным канонам и понятиям. Ответы тети были просты и безыскусны, однако, я про себя отметила, что речь ее выстроена правильно, грамотно, вероятно почти безупречно. Настолько плавно она говорила, будто не

было сложно-переживаемых дней предыдущего времени: с подбором слов, сомнением, с нашими с ней беседами и даже порою спором. За почти три года ухаживания за нею я видела разное. Мы переговорили, охватили воспоминанием не полжизни, а думаю – всю ее жизнь, да и мою тоже. Что и как выполняла и переживала она, как росли два ее сына, внучки, как появились внуки. Перед моими глазами проплыла картина ее жизни с мужем Гришей, которую я, впрочем, и сама наблюдала, ведь родня-то мы с нею близкая. Она и обо мне говорила, но поскольку я родилась, выросла и выучилась на ее глазах, она скорее выспрашивала что-то для нее неясное или, может быть, забывшееся.

Вот теперь тетя Маша как бы беседовала с Богом через его представителя. «Внутренне продумала, собралась, словно ей не девяносто один, а всего семьдесят, шестьдесят», – отметила я про себя. Мне было приятно это, радовало слух, потаенная гордость за тетушку наполняла меня.

Однако главным зернышком моего повествования является именно то, что я услышала и что открываю сейчас. Именно это затронуло меня, изумило и подтолкнуло восторженностью моему сердцу. На один, казалось бы, простой вопрос священника тетя Маша поведала об эпизоде, случившемся в первый год войны. И это пронзительное признание мною оказалось воспринятым как самое главное.

Сорок первый год. Они – выпускники школ, многие ушли на фронт. Маша и ее одноклассница – в цехе на чрезвычайном холоде, в худенькой тонкой одежке и старых ботиночках. Полуголодные, работают в цехе, где идет металл для фронта. Девушка Соня попросила Марию получить за нее расчетную получку в кассе и передать ей. Самой Соне срочные сборы. Она доброволец, завтра с вокзала отправка на фронт. Голос тети Маши ровный и грустный:

– Соня была сирота, ее родители умерли. Я пообещала ей, а выполнить не смогла. Что-то помешало в тот день. Не специально, не по моей вине, но вышло так, что я обидела сироту. Много лет прошло с той войны, сейчас я и не помню – почему. Мне надо было изо всех сил выполнить. Такой вот грех, через всю жизнь я его помню.

Священник задал еще несколько вопросов, наверное, они были важные. Тетя Маша отвечала ему. Затем он воздал ей благословляющие слова, должно быть, это было как отпущение грехов, затем что-то молитвенное недолгое произнес... И вскоре все завершилось.

Именно это все крутилось и повторялось в моей голове, пока я сидела в темноте кухни у окна. С неотступающим изумлением, с каким-то даже благоговением, высокие чувства окутывали меня и удерживали ото сна.

Положив перед собой ворох бумаги, я стала записывать. О глубине человеческой души и о глубине добра; о том, что всегда трогало и восхищало меня в наших русских женщинах. Ибо в тот особенный день, или накануне, мною ожидалось от тети Маши какое угодно признание, но скорее всего – не такое, не услышанное. Мало ли какие нелепости совершаем, ошибки, непреднамеренные глупости творим: в воспитании детей, собственные на долгом пути жизни. Может быть, и сам путь пробегает не так, как нам многим хотелось бы: в стране, в мире.

А здесь, в комнате, всего одна жизнь в своем завершении. И признание – о том суровом времени сороковых годов, та боль, которая уходит в историю. Облик сверстников тети, многих павших в войне на самой заре жизни. Память женщины сохранила ту печаль, которая всю жизнь оставалась с нею. И, хотя теперь не война, память о том непоправимом моменте сохранена.

Я беру карандаш и записываю: «Всю ночь проплакал дождик...», мне кажется, что задуманная повесть протянется через весь город, через эти прошедшие сложные для меня сутки и через эту темноту под мостом. Она останавливается в огнях на станции, на том берегу реки и за холмом, откуда появляется солнце. Во мне продолжает звучать Шуберт. Какое-то время я, опустошенная печалью, сижу и вслушиваюсь во внутреннюю мелодию. Она звучит грустно, но как-то тепло, нежно. Зачеркиваю строку. «Нет, это будет не повесть, только стихи, целая поэма».

*Хотя сейчас и не война,  
Сквозь слезы утро улыбалось,  
И просветленная моя  
Родная в памяти осталась.*

Предвосхищаю? – Да нет же. Просто отдаю благодарность человечности, ее проявлению.

Тети Маши не стало через два месяца. Позже, когда я приехала к ее родным и мы пришли в ее дом, на противоположной стороне реки у подножия холма тянулась ниточка товарного состава, там, куда я всматривалась многие вечера и часто ночью. Очень часто с грустью. Вот они, комната и кухня с окнами на реку, на место солнечных восходов. Товарняк прошел, затих его грохот, осталась зеленая листва поверх глади реки. И во мне запела та мелодия, чтобы шепнуть мне строки, что когда-то я положила на бумагу. И новые:

*И не только война...  
Жизнь продолжится дальше,  
В детях, правнуках, внуках  
Останешься ты, тетя Маша,  
Дождик, солнце, и вся кутерьма...  
Нет, не только война.*